

К Р И Т И К А

Р.Скнѣ

ПОСЛЕДНИЙ ПОСТ ИНГЕРМАНАНДИИ

Предлагаемая заметка не стремится быть всеохватывающей очерк о поэзии Петра Чейгина. Хотя автор и знает давно поэта и хорошо знаком с его поэзией, он не может сказать, что все ему ясно, есть вопросы, которые остаются пока без ответа. Поэтому, не касаясь этих вопросов ("положим того, кто знает" — как советует восточная мудрость), автору хотелось бы лишь отметить один штрих в поэзии Чейгина.

Существуют упорные споры поэтов о том, какое место в иерархии ленинградских поэтов он занимает. Но независимо от того, какой номер История выдает каждому (с неизменными перевыборами в каждом поколении), уже давно ясно, что без Чейгина картина петербургско-ленинградской поэзии будет неполна. Я не рискнул бы выдать Чейгину исторический алюминиевый жетон с каким-нибудь из первых номеров. От этого меня предостерегают некоторые беспокойства. Прежде всего, во мне гнездится подозрение, что в поэзии Чейгина нет универсальности, она слишком привязана к весьма немногочисленным темам. Если есть поэты, лиру которых можно сравнить с органом, то Чейгин, мне кажется, точно определил свой поэтический диапазон словом "сольфеджио", которым он назвал один из своих сборников.

Согласимся, что поэзия Чейгина не хватает размаха монументальности и того универсализма, который бы позволил назвать его поэзией, хотя бы в совокупности, энциклопедией нашего времени. Действительно, все стихи Чейгина — это лирика, несколько камерная; тема Чейгина — это тема своего человеческого и поэтического Я. Но каждое стихотворение заключено в куколку или, скажем иначе, имеет "воздушный колокол" (который бивает, скажем, у симпатичнейшего воляного паучка), который включает в себя множество примет широкого окружающего пространства. Поэзия Чейгина свидетельствует этими малыми приметами об огромном мире, заложниках которого мы все являемся. Негромкое, чуть вибрирующее сольфеджио Чейгина поется со своего голоса, даже если в нем, как в пенки пригородного скворца, слышатся и иные мелодии. В гардеробе Парнаса, будь я гардеробщиком, я бы по-

всем скромное чейгинское пальтоце рядом с роскошными шубами великих и, в ожидании нового посетителя, посидел бы в уголке швейцарской над небольшим томиком Петра Чейгина.

Нельзя не отметить одно любопытное обстоятельство. Чейгина причисляют к петербургско-ленинградской поэзии. Но, перелистывая его сборники, приходишь к выводу, что город наш в его стихах не присутствует. Лишь изредка попадутся какие-то опосредованные или прележно мезонимические намеки: "окрашенный нагар", "выдохное железо", "тротуарная слизь", "похмельные трамваи" и другие, подобные приведенным. Приходишь к выводу, что стихия чейгинских стихов — это стихия природы. И это не драгородная, перловая природа с белыми мраморными Афродитами и тайными беседами — природа Бета и Анненского, но — некультурная, языческая, с той улыбкой, которая скрывается в бороде врубелевского "Пана":

"Но шмель взором и заворонек светит,  
и насекомая волна водой блестя,  
и вереск осторожаний налетит,  
чешуйки губ доглядит и польетит  
знакомством долгим с Балаамской мелью";

или:

"Весело  
Влагу небесную  
полночь озерную  
смешивать, плакать.  
Желтая пена каменным берегом бродит.  
Рыбный скелет на ладони твоей остывает.  
Весело, милая.  
Сердце-утопленник мокнет.  
Чайки качают.  
В мире предельно светло."

Эта природа до грехопадения человека, природа еще не утратившая свою цельность — не дифференцированная познанием и не отчужденная утилитаризмом. Эта природа не только дохристианская, но и доантичная, доклассическая, полна вещей заговоров и наговоров:

"Звезда в тальпанах объяснит пожар.  
Настанет ночь и принесет на совах  
качелей пенке, да жизни темный шорох"

где -

"Ланцыи прячется, замешивая ливень,  
определив узорчатой малине  
ухаживать за долей лунной глины  
и врачевать добычей своей",

и где сам поэт "среди лесов и чаек", "как цен" "удивляется  
во сне: бабочке, живому миру, где он - панисрат жучку и на-  
возной спелой мухе". Наблюдатель растворен в нестчлененном  
от него мире, над которым висит "надкуденное яблоко Луны",  
отраженная в "блеске зверей", а "Запруда Болница" играет  
"на Колесе стрелок", на "обвале кленовом", где котенок "сол-  
нечный вла" "лапкой дышалье ловит у спящего", а -

"Карасики - игривые ребята  
за чебушкиной бросились,  
качают  
подводное зеленое растенье".

И взгляд поэта с "звериной ценкостью слепня" -  
"горячей, чем зрачок  
с поворота лесного взгляда".

А ухо, с чуткостью почти гайаватовской, слышит, как "про-  
сится, знакомый не приметам, к нам голос клена "О, не про-  
гоня"!.

Формируется образ, который кажется родственной <sup>образу</sup> летнего  
бронзоволицего Блока, который писал:

"Моя душа преста. Соленый ветер  
Морей и смольный дух осени  
Во питал. И в ней все те же знаки,  
Что на моем обветренном лице".

Сравните с чейгинским:

"Но мне хватает жизни однозначной,  
простой, как перекресток листопада.  
Где минуточе близится засада  
двух говорливых стаях веробьев".

И тем не менее это обличение ложное. Ибо в пантеистический мир Чейгина все время врывается Город. Как не скупи его внешние приметы, они искажают этот дмонийский мир, но не апокалиптическим миропорядком, а ржавым хаосом, диссонансом металла, и диссонанс Города, помноженный на первичный хаос языческого мира создает комбинации чудовищно разрушающей и саморазрушающей силы. Поэзия Чейгина не свойственны кульминационные взрывы — взрывы дермонтовско-байронического пафоса свободной стихии, но <sup>в ней</sup> постоянно присутствует мертвая зыбь смысловой и душевной фрустрации.

Город является в стихах Чейгина то зловещим блеском далекого купола Исаакия в грозном закате, то <sup>столбом</sup> это вертикаль гарм, подавляющей природу. И тогда понимаешь, что природа поэта Чейгина все-таки природа близкого пригорода. Даже не физическим "нагаром", но самым отсветом Город делает оранжевоаумский снег Чейгина "черным снегом", а поэт пишет "на срезе скворца и свинца".

Уже у Пушкина ("Медный всадник") Город это не только не его имперско-имперский центр, но и его периферия. Если в Копенгагене (Остроумова-Дебелева) первичная традиция восторга перед имперским городом сохранялась долго, то поэзия зреет быстрее. Не случайно Блок селился на окраинах Петербурга, на его фронтире, где камень поднимает игри природы. С этой точки зрения Чейгин — непосредственный потомок Пушкина Коломны и "пряжского" Блоха. Только, пожалуй, еще и с традицией исходящего с ума Евгения и того символа Пряжки, который несет в себе не только географический ориентир. Поэт является добровольным пленником Города, в котором он ощущает себя постоянно возвращающимся гостем, не имеющим возможности согреться около манящего, но холодного неона:

"Окраина. Трамвайное тепло  
тремя копейками отуплено у ночи".

Трагическое нуждается в иллюзии. Иллюзии — в оныянии "рымкой Блоха". Но современному потребителю блоковского эми, настоящего на черной розе, является не "Прекрасная Дама", а смертная тоска. Диссонанс Города и хаос пантеистической природы, приравненной к пятой "Медного Всадника" усиливается

чуждым внутренним "грохотом борнотухи". Форма стиха как форма мира разрушается, или же работает на пределе саморазрушения. Поэзия являет собой "наший лет. Где каждый вертикальный миг - в пролет".

От безумия можно спастись бегством - подалее от Медного Всадника, в родное Сойкино, что у "Рамбова". Ибо для того, кто "Високоным разладом пульсаций настигнут" -

"Лучше средства нет

Для укрепления стойкости сердечной,

чем объяснение с моральной и скворечней".

Но и тем, кто постоянно ощущает свое "медное время на вырост" - "проектор не дает пошевелиться". А если отвернуться от "проектора", то можно видеть чернобелую графику ветвей на фоне "снега Лансера", подсвеченного далеким тревожным "фарным" светом:

"Обводит губы февралем,

что и не рад, что

такую долгую дорогу.

Снега в черневших стволах,  
настой постройки деревянной  
и карандашный профаль женский  
на остролистниках стены  
под легким светом законным  
скользящим фарным  
проступает."

И страстная мечта:

"Проснуться -

ласковый рассвет

в кругу влюбленности синичьей!"

Где выход? Из плена Города выбраться нельзя, поэт сам признается в этом: "тайнобрачный город мой". Тогда, может быть, следует вырваться из лавушки пантеизма?

Как человек Чейгин чрезвычайно тяжел, и это не является тайной ни ни его друзьям, ни врагам, ни ему самому. Мы почти все лишены чувства рода, и поиски корней иногда приводят к псевдоаристократизму. Чейгин не избежал тайной

страстной жажды по "аристократизму". Скупые замечания Чейгина о себе не дают представления о его родословной. Да и самому ему, похоже, не так уж много ведомо, кроме того, что он родился в Сойкино в крестьянской (или точнее - пригородно-крестьянской) семье. Для меня гораздо важнее то, о чем Чейгин проговаривается в д поэзии. Уверен, что многое из того, что он выговаривает, он сам не понимает.

Мне хотелось бы предложить такую схему, или легенду. Довольно много мне пришлось поехать с этнографическими экспедициями по Ленинградской области. Археология, диалектология, материальная культура убедительно говорят о том, что эленине коренное население является обрусевшими христианизированными финноязычными народами. Хорошо известно, что Сойкино и его окрестности еще в начале нашего века были заселены коренным местным населением, которое известно под именем "сойкинских ижор". Я уверен, что Петр Николаевич Чейгин - из них. Об этом, похоже, он и сам не знает. Но вот что странно - достаточно памятники устного ижорского фольклора сравнить с поэзией Чейгина, с системой его образов, чтобы заметить их близость. В этом, собственно, и заключается, на мой взгляд, неповторимое своеобразие чейгинской поэзии. Пантеистическое восприятие мира, близость к тайнам риф, вод, к языку стрекоз, сениц, сов, вороху ольхи - у поэта и у народа, из которого он вышел и генетическую связь с которым сохранил, перадило на русском языке сольфеджио Чейгина. Лесной и речной народ ижор со времен Петра стал растворяться в половодье многоликого русского языка. В наше время этот процесс пришел к своему ~~высшему~~ завершению, но последний поэт Ингерманландии - жив. В сольфеджио "пригородного скворца" Чейгина много иных пересмешек - от Блока и Ходасевича до Маннфельдтама (а еще более от Пастернака, хотя, пожалуй, через перепатчиков), но перечисленные - ведь тоже русскоязычные поэты с судьбой, чем-то поразительно (в своей родословной) широким схожей с чейгинской. Все они - пришельцы из других этносов, обогатившие русскую поэзию новой вибрацией слова, слова вечноветшающего и требующего непрерывного обновления.

Несколько слов об "оговорках" Чейгина. Одно из его стихотворений можно было бы назвать "Моя родословная":



"Третье поколение  
по скворечникам селось,  
тыря ело.

По словым отдаленьям  
на стволах сидело,  
кукарекало.

А в четвертом был дурак.  
Ну-у дурак.

Муравьиный смарг не лил.  
Дулся.

И в ночи, и в белый день  
Не спал.

На березовой хрустинке  
рисовал.

Слово строил..."

Я убежден, что эта ролословная, не менее интересна, чем блоковская в "Возмезлии", чем у М. Кузмина или пушкинская. Мне интересно узнавать древние поверья в чейгинской поэтике, где нагорная проповедь смешалась с языческими кунальскими наговорами:

"Все чересчур. И тем верней,  
что на коленях, между верб  
стоишь и молишься на серп",

/Обратите внимание на это  
чересчур - Р.С./

или:

"Вы из креста возьмите  
влубок ушей и домотканых стрел".

Здесь икорский Пан спит с Христом -

"...Ангел пролетел. Знакомое перо  
на ягодах, гулящих волчьим соком".

В этой поэзии с вершин крестов слетают "воронья семерка" и "воронья тройка", и "воронья пасека", что "крутят небосвод" - признак древних западнофинских гаданий и ворожбы. Поэта, обращающегося к Нему, тем не менее тревожит, что "нет голоса и нет вестей из леса". Он сам не может понять,

"что наболтано кровью родни, что пропотом глубин "полнолуны", шепотами и шорохами "священных роць", остатки которых еще сохранялись кое-где над православными кладбищами, хранящими рядом с крестами языческие жальники древних потреблений:

"Скоро майские сдлы, развейся,  
Приготовь огороц, посиди на могиле.  
Раз на раз не придется.  
Весеннее действо  
снова крутит строку..."

ибо —

"Звериное почуветво на рожденье  
мать престная напела, навлекла.  
Мать черная — пичуга очага,  
замазка воробьиного селенья.

Деходная уловка для ума,  
где самой речью выполнен преселок.  
Где жизнь моя — полетавки новосела —  
открещивает время от себя."

С ижорой вообще-то не все ясно в истории. Племя это в русских летописях появляется позже всех — из угрофинских —, лишь в XI веке, т.е. много позже всех (вензы), корелы и пр. Археологи полагают, что оно образовалось смешением корелов и венз где-то в XI—XII веках. Название "ижора" не объясняется удовлетворительно из местных языков. Всего удачнее объясняется именем прекрасной дочери скандинавского конунга Ингигерды (Ингергерды), на которой был женат Ярослав мурый. Старая ладога ишпреле, со времен Рюрика, была личным доменом киевско-русских великих князей, и в том числе на протяжении всего времени княжения Ярослава — личным владением его жены Ингигерды. Земли, на которых были поселены переселенные с Карельского перешейка корелы, а также местная весь и славянская земледельческая верхушка, носили очень долго название земель Ингигерды: "Земля днгой Ингергерды", *Ingermanland*. Скандинавы, а затем и русские называли местных ижоритов. Древнерусское носовое "и" исчезло еще в XIV—XV вв., а "г" в полном соответствии с русской фонети-

кой превратилось в "ж" - ингерн, ингера превратилась в ижору.

Затем и ижора стала постепенно превращаться в русских. И лишь на чьем-то вполне российском лице видишь отблеск уже исчезнувшего. Но исчезнувшее - это то, что не существует. И когда думаешь о том, что исчез целый мир представлений, возможностей, то сердце не может не наполняться печалью. С Петром Чейгиним произошло воскрешение этого, казалось бы, навсегда погребенного мира. Он поведал о себе, и мы узнали о нем сквозь "грохот бормотухи", сквозь пересмешки пригорелного окворца и тяжкие железные ритмы Города - он вышел и обогатил нас. Чем? - Еще трудно разобраться, но "полозем того, кто знает". Может быть и задача всей этой исчезнувшей культуры растворившегося народа и заключалась в том, чтобы вынести хотя бы одного, кто мог бы поведать о ней - и обогатить кругозор своим древним и неразгаданным трагическим опытом. А сейчас, относясь лишь чисто эстетски к этому опыту, хочется вспомнить, что:

"Так сладко бывает бредить,  
наставая настроенье.  
И опыт пчелиного зренья  
понять до всемирного мненья,  
и мысль опустить на зенит".

oooooooo